

Афоризмы. Василий Васильевич Розанов

(1856–1919)

[Путь к счастью и решающему постижению, по Розанову,]... в освободительном знании безусловной непостижимости мира.

...Мощь отпущенного на волю ума возвращается у Розанова, в его письме, к тысячелетней опоре парменидовского того же, основе мысли и бытия. Эта опора открывается до логики в запредельном видении, что все в мире, близкое и далекое, присутствующее и отсутствующее, охвачено мгновением в своем тождестве, равенстве себе...

Я часто вспоминаю, как о. Александр Мень говорил, что по закладке оснований под новые цивилизации наше время сравнимо с 1-м веком после Рождества Христова. Пророчество Розанова о будущем «изучении сторон бытия независимо от бывающих вещей», волнует и тем, что оно буквально осуществилось в философии Хайдеггера, и тем, что погоня технической цивилизации за вещами все равно ведет в тупик...

[По мысли Розанова, — высказанной вровень с идеями М. Хайдеггера и задолго до Ж. П. Сартра, но с большей тонкостью — (От редакции)] «разум не имеет никакого существования, он есть пустое ничто... совершенная пустота»... Настоящее чтение и понимание подобных тезисов начнется, может быть, только в 21-м веке. Это чистое новое начало мысли по размаху и широте сравнимо с греческим...

Только одно, тайная вдумчивость, способность к вещам снам спасает в конечном счете Россию, которая как ни одна страна в мире открыта выстуживающим ветрам... Именно у нас Розанов смеет позволить себе бескрайнюю широту вопросов. После него говорить, принадлежит ли Россия мировой цивилизации, уже анахронизм...

(В. В. Библихин «Время читать Розанова»)

Василий Васильевич Розанов (Из собрания идей, афоризмов, высказываний, записанных в разные годы).

О любви

Всякая любовь прекрасна. И только она одна и прекрасна.

Потому что на земле единственное «в себе самом истинное» — это любовь.

Любовь исключает ложь: первое «я солгал» означает: «я уже не люблю, я меньше люблю».

Гаснет любовь и гаснет истина. Поэтому «истинствовать на земле» — значит постоянно и истинно любить.

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже неинтересно...

Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого).

Отстаивай любовь, своими ногтями, отстаивай любовь своими зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее против власти.

Будь крепок в любви — и Бог тебя благословит.

Ибо любовь — корень жизни. А Бог есть жизнь.

Все же именно любовь меня не обманывала. Обманулся в вере, в цивилизации, в литературе. В людях вообще. Но те два человека, которые меня любили, — я в них не обманулся никогда. И не то чтобы мне было хорошо от любви их, вовсе нет: но жажда видеть идеальное, правдивое — вечна в человеке. В двух этих привязанных к себе людях («друге» и Юлии) я и увидел правду, на которой не было «ущерба луны», — и на светозарном лице их я вообще не подметил ни одной моральной «морщины».

Если бы я сам был таков — моя жизнь была бы полна, и я был бы совершенно счастлив, без конституции, без литературы и без красивого имени.

Больше любви; больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде.

У, как везде холодно.

Любовь подобна жажде. Она есть жаждание души тела (то есть души, коей проявлением служит тело). Любовь всегда — к тому, чего «особенно недостает мне», жаждущему.

Любовь есть томление; она томит; и убивает, когда не удовлетворена.

Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда возрождает. Любовь есть возрождение.

Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. Любовь — это всегда обмен — души-тела. Поэтому, когда нечему обмениваться, любовь погасает. И она всегда погасает по одной причине: истощенности материала для обмена, остановка обмена, сытости взаимной, сродства-тождества когда-то любивших и разных.

Зубцы (разница) перетираются, сглаживаются, не зацепляются друг за друга. И «вал» останавливается, «работа» остановилась: потому что исчезла машина как стройность и гармония противоположностей.

Эта любовь, естественно умершая, никогда не возродится...

Отсюда, раньше ее (полного) окончания, вспыхивают измены, как последняя надежда любви: ничто так не отдаляет (творит разницу) любящих, как измена которого-нибудь. Последний еще не стершийся зубец нарастает и с ним зацепляется противолежащий зубчик. Движение опять возможно, есть — сколько-нибудь. Измена, есть таким образом самоисцеление любви, «починка» любви, «заплата» на изношенное и ветхое. Очень нередко «надтреснутая» любовь разгорается от измены еще возможным для нее пламенем и образует сносное счастье до конца жизни. Тогда как без «измены» любовники или семья равнодушно бы отпали, отвалились, развалились; умерли окончательно.

Мы рождаемся для любви.

И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том свете.

Мы не по думанью любим, а по любви думаем.

Даже и в мысли — сердце первое.

Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит в неверность.

Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять.

Любить — значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя», «везде скучно, где не ты».

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь воздух. Без нее нет дыхания, а при ней «дышится легко».

Вот и все.

Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преумышленная против существа любви и ее задачи, где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого.

Покорить брак закону любви...казалось бы, в этом ведь христианство: все — покорять закону согласия, мира, тишины. Но именно в христианстве — не в мусульманстве, не в еврействе — две тысячи лет бьется другой принцип:

Покорить любовь закону брака.

И все в этом задыхаются.

Отцы Церкви были все обывателями Греко-Римской империи, или — чисто Римской: и понятие об «основной социальной клеточке» взяли из окружающей жизни.

Вот почему мои порывы к новой семье, хотя кажутся и суть «антиканонические», но суть подлинно евангельско-библейские стремления, и только анти-греко-римско-языческие, неосторожно взятые в «каноны».

Бог сотворил любовь. Адам и Ева были в любви — и по сему, единственно, Библия их нарекла иш и иша (сопряженные), муж и жена. Любовь древнее «закона брачного». И понятно, что древнейшее и основное не умеет покориться новому и прибавочному.

Не «существительное» согласуется в роде, числе и падеже с «прилагательным», а «прилагательное» согласуется с «существительным».

И следуйте этому, попы: или, во всяком случае, вам не будут повиноваться.

Будете убивать за это, и все-таки вам повиноваться не будут: по слову Писания — «любовь сильнее даже и смерти».

Любовь есть совершенная отдача себя другому.

«Меня» уже нет, а «все — твое».

Любовь есть чудо. Нравственное чудо.

Что выше, любовь или история любви?

Ах, все «истории любви» все-таки не стоят кусочка «сейчас любви».

Основание моей привязанности — нравственное. Хотя мне все нравилось в ее теле, в фигуре, в слабом коротеньком мизинчике (удивительно изящные руки), в «одной» ямке на щеках (после смерти первого мужа другая ямка исчезла), — но это было то, что только не мешало развиваться нравственной любви.

В христианском мире уже только возможна нравственная любовь, нравственная привязанность. Телю как святыня (Ветхий Завет) действительно умерло, и телесная любовь невозможна. Телесная любовь осталась только для улицы и имеет уличные формы.

Я любил ее, как грех любит праведность, и как кривое любит прямое, и как другое — правду.

Вот отчего в любви моей есть какое-то странное «разделение». Оно то и сообщило ей жгучесть, рыдание. Оно-то и сделало ее вечным алканием, без сытости и удовлетворения. Оно исполнило ее тоски, муки и необыкновенного счастья.

Ни Новоселов, ни Флор[енский], ни Цвет [ков], ни Булгаков, которые все время думают, чувствуют и говорят о христианстве, ничего не сказали и, главное, не скажут и потом ничего о браке, семье, о поле. Вл. Соловьев написал «Смысл любви», но ведь «смысл любви» — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах «Сочинений» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. Ни одной строчкой ей не помог. Когда я издал два тома «Семейного вопроса в России», то на книгу не только не обратили внимания, но во всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии и ни одного указания или ссылки.

«Семейного вопроса в России» и не существует. И семья настолько страшно нужна каждому порознь, настолько же вообще все, коллективным национальным умом, коллективным христианским умом, собирательным церковным сердцем — к ней равнодушны и безучастны.

Любовь продажная кажется «очень удобною»: «у кого есть пять рублей, входи и бери». Да, но

Облетели цветы

И угасли огни...

Что же он берет? Кусок мертвой резины. Лайковую перчатку, притом заплыванную и брошенную на пол, которую подымает и натягивает на свою свою офицерскую руку и свою студенческую руку. «Продажная любовь» есть поистине гнусность, которая должна быть истреблена пушками (моя гимназическая мечта), порохом и ножом. На нее нужно смотреть, как на выделку «фальшивой монеты», подрывающей «кредит государства». Ибо она, все эти «лупанары» е переполняющие улицы ночью шляющиеся проститутки, — «подрывают кредит семьи», «опровергают семью», «делают ненужным (осязательно и прямо) брак». Ну а уж «брак» и «семья» не менее важны для государства, чем фиск, казна.

Супружество, как замок и дужка; если чуть-чуть не подходят — то можно только бросить. «Отпереть нельзя», «запереть нельзя», «сохранить имущество нельзя». Только бросить (расторжение брака, развод).

Но русские ужасно как любят сберегать имущество замками, к которым «дужка» только приставлена. «Вор не догадается и не тронет». И блаженствуют.

Не обижайте любовь... Не тесните, не гоните ее, не подсматривайте за нею. Не клеветайте на нее. Не сплетничайте с ней. Родители, не обижайте любовь своей детей. Общества не обижайте своих членов. Господа, не обижайте любовь своей прислуги.

Начальство учебных заведений — не обижайте любовь учеников и учениц.

Ах, как коротка жизнь. Как тяжела. Как скучна. Однообразна, томительна.

«Други мои, если это так, — а это несомненно так, — то неужели вы «в жесткой руке» сожжете почти единственный, во всяком случае главный и всему живому дарованный цветок — любовь? Как странно. Как горестно. О, разожмите, разожмите руку, выпустите. Берегите его. Целуйте его. С покрывалами (полотнищами) станьте около любви и закройте ее от осуждения злых. И не подозревайте: «она будет коротка». Не клеветайте: «она будет неверна». Ничего не думайте. «Как Господь устроит». Вы же берегите и берегите всякое «Есть» любви...

Василий Васильевич Розанов о русской классике\*

(С. 107)...Никого из писателей не любил Розанов так, как Достоевского, постоянно вчитывался в его книги и говорил, что это — «гибкий, диалектический гений, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание» (вот где истоки антиномического мышления и самого Розанова)...

(С.108)...«Зная симпатию В. В. к Достоевскому, я однажды спросил его, — вспоминает Э. Голлербах: — «Кто из героев Достоевского Вам больше всего по душе, чья психология Вам ближе и роднее?» Не задумываясь ни на минуту, В. В. ответил со свойственной ему порывистой и вместе с тем мягкой интонацией: «Конечно — Шатов». Герой «Бесов» и связанные с ним мысли о России и ее судьбах, о русском национальном характере всегда волновали Розанова. «Дневник писателя» был особенно любим Розановым...

...Отрицая современную ему цивилизацию, которую он именовал цивилизацией озверения человека (а Розанов в одном из писем к Леонтьеву назвал «пиджачной цивилизацией»), Достоевский верил, что «царство мысли и света» настанет в России...

(С. 109)«Есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж, как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры». «Судите наш народ не потому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать». «Обстоятельствами всей почти истории народ наш до того был предан разврату и до того развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа».

(С. 111)Толстой и Достоевский противодействовали [как считал Розанов] «отрицательному» гению Гоголя... «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал он в ней»... «Роман Достоевского [«Братья Карамазовы»] глубоко однороден с «Анной Карениной» по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением.»

(С. 115) «Подпольный человек» — центральная идея творчества Достоевского. Без такого «столпа в его творчестве», как «Записки из подполья», говорит Розанов, нельзя понять ни «Преступления и наказания», ни «Бесов», ни «Братьев Карамазовых»... «Подпольный человек» — явление современное, явление нашего века. И Розанов почувствовал это раньше других...

(С. 116) Серьезную заслугу Достоевского в философии и теории познания Розанов видит в том, что «позитивное бревно» одномерного мышления, лежащее «поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так потряхнул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравновешенности. Гений Достоевского покончил с прямолинейностью мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и расшатал...»

(С. 118) Полемизируя с Вл. Соловьевым, видевшим существенный недостаток философии Леонтьева в якобы отсутствии внутренней связи между тремя главными мотивами его мирозерцания (мистицизм византийского типа, монархизм и стремление к красоте в национальных самобытных формах) Розанов считал, что эстетика как утверждение красоты жизни может быть признана центром, связующим все учение Леонтьева в одно более или менее стройное целое...

(С. 119) Главное в философии Леонтьева Розанов определяет как поиск «красоты действительности»: не в литературе, не в живописи или скульптуре, не на выставках или в музеях, а в самой жизни, в событиях, в характерах. «Прекрасный человек» — вот цель, «прекрасная жизнь» — вот задача... Леонтьев разошелся со всеми и вся и ушел в монастырь, сначала в Афон, затем в Оптину Пустынь. «То, что он остался отвергнутым и непризнанным, даже почти непрочитанным (публикою), и свидетельствует о страшной новизне Леонтьева...»

(С. 121) Упрекая Достоевского в отсутствии в его романах прославления церкви и мистического начала, Леонтьев вынужден был признать, что Достоевский один из немногих мыслителей, не утративших «веру в самого человека».

(С. 122) Если Гоголь, по Розанову все-таки «пугался своего демонизма», был «между язычеством и христианством», то Леонтьев «родился вне всякого даже предчувствия христианства»...

(С. 123) В глазах Розанова Леонтьев предстает как защитник юности, молодости, «напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма», как провозвестник «космического утра и язычества».

(С. 124) Леонтьев потерпел поражение, и Розанов глубоко переживал трагизм его судьбы: «Он, бедный идеалист, держал древко покинутого знамени; он хватал его мотающиеся, простреленные в боях шелковые лоскутки... Бедный! Конечно, он был раздавлен, и все его сочинения — только крик раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знамени его родины...»

(С. 126) «Леонтьев — величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, из славянофилов многие — дети против него. Герцен — дитя, Катков — извозчик, Вл. Соловьев — какой-то недостойный ерник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала»

(С. 145) Писателей Розанов разделял на «холодных» и «теплых». Со своим апофеозом «интимности» он не мог переносить «холодных» и больше всего страшился в литературе «холода». «Ах, холодные души, литературные души, бездушные души. Проклятие, проклятие, проклятие»... Все «холодные» писатели, утверждал Василий Васильевич, вышли из Гоголя и жили сейчас после Гоголя. «В Гоголе же — мировой центр или фокус «ледникового периода». Существуют «шумные писатели», говорил Розанов: «Был шумный Скабичевский, шумный Шелгунов, а уж Чернышевский просто «гремел», — и тем не менее они все были, в сущности, холодные писатели; как и Герцен есть блестящий и холодный писатель. Мне кажется, теплота всегда соединяется с грустью, и у Страхова есть постоянная тайная грусть; а те все были пресчастливы собою»

(С. 147) «Надо жить тут и в себе». Это великое мастерство, великое умение которого почти всем не достает. Нужно находить великое счастье, — не великое, а величайшее, самое великое, — у себя в доме, с ближайшими людьми. Нужно любить не ближнего, а «ближайших». И вот кто нашел в себе силы и умение быть счастливым только с ними, тот разрешил неразрешимую проблему счастья».

(С. 148)[Розанов выступил против теории Дарвина] «Дарвин не заметил, что у природы блестят глаза. Он сделал ее матовой, она у него вся матовая... Природа с потухшими глазами. Бррр... Он дал пакость, а не зоологию. И пакостный век поклонился пакости...»

(С. 150) Непросто складывались отношения Розанова с философом Владимиром Сергеевичем Соловьевым... Соловьев считал себя выше всех окружающих людей, даже выше России, выше церкви, чувствовал себя «Моисеем»... Э. Голлербах свидетельствует, что Розанову представлялось: в Соловьеве отсутствует чувство уравнения себя с другими, чувство счастья в уравнении, радости о другом, о достоинстве другого.

Хорошо знавшие Соловьева люди говорили, что его глубокомыслие часто соседствовало с юмором и смехом... «Откуда, в самом деле, эта шутка? — вопрошает Василий Васильевич. — она постоянна у Соловьева... Талант шутки есть преизбыточность ума, фантазии, живости, смешливых сопоставлений, т. е. очень быстрой, почти моментальной способности комбинировать по-новому предметы, слова и мысли. Этот врожденный дар был у Соловьева... И он шутил и шутил, горькими своими шутками. Конечно, цинизма в нем и капли не было». Впервые Соловьев «пошутил» над Розановым, когда за статью «Свобода и вера», появившуюся в январской книжке «Русского вестника» за 1894 год, обозвал его именем щедринского героя — Иудушкой Головлевым, ибо «кому же, кроме Иудушки. Может принадлежать это своеобразное, елейно-бесстыдное пустословие?»

(С. 152) Личное знакомство двух писателей состоялось поздней осенью 1895 года по инициативе Соловьева и через посредство Ф. Э. Шперка...

(С. 153) ... Обычно сам Василий Васильевич заходил к Соловьеву, останавливавшегося в гостинице «Англетер», когда шел на службу в Контроль через Исаакиевскую площадь. В своих воспоминаниях Розанов рисует портрет Соловьева, человека высокой религиозной чистоты и «прямой судьбы». Ходил он дома в парусиновой блузе, подпоясанный кожаным ремнем, и в этом костюме имел в себе что-то,

по словам Розанова, заносенное и старое, не имел вообще того изумительного эстетического выражения, какое у него бывало всегда, едва он надевал сюртук. Тогда он становился похож на «сурового библейского пророка».

(С. 157) Одна из записей «Опавших листьев» начинается словами: «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, нахожу главный (С. 158) источник, по крайней мере, холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении» ...»

(С. 183) Пушкин для Розанова — «царственная душа», потому что поднялся на такую высоту чувств и мыслей, где над ним уже никто не царит... Замечательную особенность Пушкина составляет то, говорит Розанов, что у него нельзя рассмотреть, где умолкает поэт и говорит философ... «Отнимите у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти».

(С. 184) Пушкин подвинул вперед русского человека, русскую мысль не на шаг, а на целое поколение вперед. «Наше общество — до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созрел к своим 20-ти годам его 36-летнему, и гениальному 36-летнему, опытностью».

Многогранность Пушкина подобна самой жизни. Монотонность, «одной лишь думы власть» совершенно исключена из его гения. «Попробуйте жить Гоголем; (С. 185)попробуйте» жить Лермонтовым, — писал Розанов, — вы будете задушены их (сердечным и умственным) монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете ужасную удушьяемость себя, как в комнате с закрытыми окнами и насыщенной ароматом сильно пахнущих цветов, и броситесь к двери с криком: «Простора! Воздуха!..» У Пушкина — все двери открыты да и нет дверей, потому что нет стен, нет самой комнаты: это — в точности сад, где вы не устаете».

(С. 187) Если бы Пушкин прочитывался каждым русским от 15 до 23 лет, пишет Василий Васильевич, то это делало бы невозможным «разлив пошлости в литературе, печати, в журналах и газетах, который продолжается вот лет десять уже».

(С.190) Гармонии и ладу Пушкина, говорит Розанов, противостоит импульсивность Лермонтова, который «самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам, — почему мир «вскочил и убежал»... Лермонтов никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно видите «со спины» ...» «Прощайте! ухожу!» — сущность всей поэзии Лермонтова... Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы скверно».

(С. 191) Ставя Лермонтова в известном смысле выше Пушкина, Розанов объясняет это новой природой лермонтовской образности и художественного видения мира: «Скульптурность, изобразительность его созданий не имеет равного себе, и, может быть, не в одной нашей литературе.»

(С. 192) Розанов ... полагает, что ... несбыточная «сказка о Демоне» была душою Лермонтова, ибо и в «Герое нашего времени», и в «Как часто пестрою толпою окружен...», и в «Пророке», и в «Выхожу один я на дорогу...» — решительно везде мы находим как бы фрагменты, новые и новые варианты все того же сюжета... Тема «демона» неизбывна у Лермонтова. Что же это за тема? Розанов отвечает на этот вопрос неоднозначно: «Любовь духа к земной девушке; духа небесного ли или какого еще, злого или доброго, этого сразу не решить. Все в зависимости от того, как взглянем на любовь и рождение, увидим ли в них начальную точку греха или начало потоков правды».

Мысль о том, что в любви, в семье, в поле содержится грех, розанов назвал одной из «непостижимых исторических aberrаций». Как только человек подумал, что в рождении, в роднике жизни, в поле — грех, то сейчас же святость и добро он перенес в аскезу, в могилу и за могилу, поклонился смертному и смерти. «У греков «не было чувства греха» (Хрисанф). Какже они смотрели на пол? Обрати к нам. Как мы смотрим? Как на грех. Грех и пол для нас тождественны, пол есть первый грех, источник греха. Откуда мы это взяли? Еще невинные, и в раю мы были благословлены к рождению.»

В «Демоне» в широком трансцендентном плане поставлен вопрос о начале зла и начале добра. Добро, как мы знаем, воплощалось для Розанова в семье и поле: «Если мы спросим, чем семья и ее существо отличается от общества, от компании, от государства (в их существе)», от всех видов человеческого общения и связанности, то ответим: святым и (С.193) чистым своим духом, святою и чистою своею настроенностью. Семья есть самое непорочное на земле явление; в отношениях между ее членами упал, умер, стерт грех».

Определяя главную черту поэзии Лермонтова как «связь с сверхчувственным», Розанов вкладывает в это понятие вполне конкретное историческое содержание. Утверждение это направлено против вульгаризаторских попыток «корифеев критики» видеть в Лермонтове «героя безвременья» николаевской эпохи...

(С. 195) Пушкин был ясен и понятен. Лермонтов оставался загадочен и туманен, его неразгаданность волновала и привлекала Розанова... розанов находил у Лермонтова (С. 196) изображение «тайн вечности и гроба» (глава «Из загадок человеческой природы» в книге «В мире неясного и нерешенного»), утверждал, что Лермонтов имел ключ той «гармонии» (слияние природы и Бога), о которой вечно и смутно говорил Достоевский — (статья «Вечно печальная дуэль»).

---

\*[Из книги Александра Николюкина «Розанов» (ЖЗЛ. — М., 2001)]